

UDC 94

SOVIET UNION OF 1930s IN ENGLISH-LANGUAGE HISTORIOGRAPHY

¹ Vyacheslav I. Menjkovsky² Ul Katarina Barbara³ Alexander A. Cherkasov

¹ Belarusian State University
6, Krasnoarmeiskaia St., Minsk, Belarus, 220030

Dr. of History, Professor
E-mail: menkovski@bsu.by

² University of Leipzig, Germany
Dr. of Philosophy

³ Sochi State University
Sovetskaya street 26a, Sochi city, Krasnodar Krai, 354000, Russia

Dr. of History, Professor
E-mail: sochio03@rambler.ru

The article, basing on English-language historiography, examines Soviet Union in 1930s, which was one of the most difficult periods of its existence.

Keywords: Soviet Union, English-language historiography, 1930s.

Современный мир стал миром глобальным. Это относится не только к сферам высоких технологий, коммуникаций, экономики или снабжения, но и к академической сфере. Академическое сообщество сегодня не разделено государственными границами, континентами или языками. Английский язык стал *lingua franca* мировой науки в целом и исторической науки в частности. Мы обязаны знать достижения не только нашей отечественной историографии, но и тех трудов, которые подготовлены англо-американским академическим сообществом и опубликованы на английском языке.

Предметом авторского рассмотрения стали научные труды англоязычных исследователей по истории Советского Союза, в которых 1930-е гг. рассматриваются как специальный объект изучения или анализируются в контексте других проблем советской и мировой истории. Исследование фокусируется на научной литературе (монографиях, журнальных статьях, сборниках статей), опубликованной на английском языке со времени окончания Второй мировой войны до наших дней. Поскольку, как мы уже отмечали, академическая историография является глобальным феноменом, мы включили в наше исследование работы историков различных стран и различных историографических направлений, подготовленные и опубликованные на английском языке. С нашей точки зрения, практически невозможно, особенно в последнее время, провести четкую грань между англоязычными учеными, пытаясь определить их англо-американские, европейские или российские корни. Академический мир интернационален. Так, одна из самых влиятельных фигур среди исследователей советской истории, работающая в Соединенных Штатах Ш. Фитцпатрик, австралийка по происхождению, а ее более молодые коллеги, Й. Хелльбек и И. Халфин, родились, соответственно, в Германии и Израиле. И таких примеров можно приводить множество.

1930-е годы в советской истории. Наиболее востребованным англоязычными учеными периодом советской истории стали 1930-е гг. Реконструируя историю англоязычной историографии Советского Союза этих лет, можно понять не только развитие историографии советской истории, но и общие методологические тенденции гуманитарных наук после Второй мировой войны.

1930-е гг. являются идеальным объектом для историографического исследования, поскольку включают в себя целую серию изменений и преобразований. Первый пятилетний план и насильственная коллективизация стали рубежом между периодом новой экономической политики и временем создания централизованной экономической системы. Индустриализация, инициированная государством мобильность населения, «культурная революция», массовое государственное насилие кардинальным образом изменили социальную структуру советского общества и создали базу для той системы, которая позже получит название «сталинизм». 1930-е гг., как исторический период, начинаются с первого пятилетнего плана в 1928 г. и завершаются германским вторжением 1941 г. Сталинизм как репрессивная система и период советской истории достиг своего пика во время «большого террора» 1936–1938 гг.

Конечно, интеллектуальное объяснение сталинизма не было работой одного поколения. Для каждой новой генерации сталинский период означал что-то иное. И хотя количество возможных «сталинизмов» не безгранично, поскольку система связана с определенными конкретными историческими составляющими, она чрезвычайно велика и сложна. Ни одно из известных определений сталинизма не охватывает всей совокупности фактов. Каждая формулировка включает в себя только часть из них, подбираемых в зависимости от определенного угла зрения. В классической советской интерпретации истории СССР, т. е. в официальной сталинской версии, господствовавшей с середины 1930-х до середины 1950-х гг., феномен, который мы сейчас называем «сталинизмом», определялся как «строительство социализма». Обсуждение содержания этого понятия было ограничено цензурой и идеологическими рамками, а интерпретация вульгаризирована в пропагандистских целях. Тем не менее интеллектуальная основа в классической советской версии была. Она уходила корнями в марксизм и предположение, что экономический базис, прежде всего собственность на средства производства, является определяющим для политической надстройки, общественных и культурных институтов.

Таким образом, ключом к пониманию советского общества 1930-х гг. являлась государственная собственность на средства производства. Она была частично установлена после Октябрьской революции и значительно расширена в конце 1920-х гг. после уничтожения городского частного сектора, принятия первого пятилетнего плана и установления централизованного государственного планирования. Коллективизация крестьянских хозяйств, осуществленная быстрыми темпами и с большим количеством жертв в первой половине 1930-х гг., уничтожила капитализм в сельском хозяйстве. В соответствии с марксистской теорией это были базовые предпосылки социализма. Однако существовало и серьезное несоответствие классическому марксизму, предполагавшему безусловное уничтожение государства как аппарата насилия. Это противоречие было устранено в официальной интерпретации через подчеркивание сохраняющейся угрозы «капиталистического окружения», которое заставляло государство оставаться сильным и бдительным, а сам Сталин преподносился как продолжатель дела Ленина. Также указывалось на внутреннюю угрозу со стороны оставшихся классовых врагов. Сохраняющаяся угроза оправдывала существование монополии коммунистической партии на власть, роль вождя в советской политической системе, усиление карательных органов.

Но с официальной сталинской точки зрения эта черта не была постоянной и первостепенной. В системных терминах наиболее значимым показателем советского прогресса в «строительстве социализма» было принятие новой советской Конституции 1936 г., которая провозгласила, что в основном враждебные классы были уничтожены.

После XX съезда КПСС, осудившего «культ личности» Сталина и его злоупотребления властью, советская классическая модель сталинизма была заменена. Перечислив очень ограниченный ряд «ошибок» и «крайностей», совершенных Сталиным, власть направила все внимание только на его личность. Таким образом, ключом к пониманию сталинизма определялся сам Сталин — лидер, чьи патологические черты стали причиной «искажений социализма». Главное направление кампании десталинизации заключалось в демифологизации Сталина без демифологизации власти коммунистической партии. Теперь лично Сталин оказался причиной всех советских катастроф и неудач так же, как раньше он был причиной всех советских достижений.

В 1970-е гг. официальное советское отношение к сталинизму заключалось в том, что «ленинские нормы» были нарушены в «период культа личности», но основы системы тем не менее сохранились. Для поколения, выросшего в сталинские годы и идентифицировавшего себя с большевистской революцией и коммунистической партией, возможность отделить Ленина от Сталина была психологически важным моментом. Ускоренная сталинская индустриализация, несмотря на ее стоимость и жертвы, понесенные населением, оценивалась как необходимая и «социалистическая». Без нее страна не могла бы вырваться из отсталости и выйти на передовые позиции в мире после Второй мировой войны. СССР не победил бы в войне с Германией. Коллективизация была также необходима и в основном правильна, хотя допускались и «эксцессы» в отношении крестьян.

В годы перестройки позиция власти по отношению к сталинизму трансформировалась в сторону его неприятия и осуждения, однако это уже не была официальная точка зрения. Среди советского руководства стал возможен плюрализм мнений и к концу 1980-х гг. единой точки зрения просто не существовало. Впервые за весь советский период официальное мнение перестало быть обязательным для специалистов-исследователей. В эти годы среди советских историков доминировали два типа объяснения сталинской системы. Первое связывало генезис сталинизма с идеологической доктриной большевиков и однопартийной политической системой с запрещенными фракциями внутри партии, установленной после революции. Главной характеристикой сталинизма была репрессивная диктатура, и сталинизм в основном оценивался как продолжение ленинского этапа. Эта интерпретация была похожа на одно из стандартных западных объяснений в рамках тоталитарной парадигмы.

В другом варианте анализа обращалось внимание на социальные силы. Речь, прежде всего, шла о бюрократизации, создании нового бюрократического правящего класса, являвшегося квинтэссенцией сталинизма. Здесь прослеживалась связь с позицией многих европейских марксистов и западных историков-ревизионистов. Сторонники такой точки зрения предполагали, что единственной социальной опорой сталинизма была новая бюрократическая элита. Но высказывались и предположения, что сталинизм имел поддержку за ее пределами. Такие идеи обсуждались осторожно, поскольку могли быть истолкованы как оправдание сталинских действий.

Дискуссии о феномене сталинизма неизбежно приводили к вопросу об исторической необходимости — был ли сталинизм неотвратимым этапом советской истории или его можно было избежать. Историки стали использовать концепцию

альтернатив, что позволило вырваться из жестких рамок марксистских закономерностей и причинной обусловленности. По отношению к 1930-м гг. это дало возможность концептуализировать советскую историю в терминах «серии решающих выборов» и моментов решения. Таким образом, они отказывались от подхода, основанного на «единственной правде», характерного для традиционной советской историографии, и приближались к более свободной методологии, характерной для мировой исторической науки.

Так как англоязычные исследователи начали научное изучение сталинского периода значительно раньше своих советских коллег, они первыми стали использовать и определение «сталинизм». В силу политических причин «сталинизм» как исторический термин не использовался в Советском Союзе даже в первые «перестроечные годы». В феврале 1986 г. М. Горбачев в интервью французской газете «Юманите» (*L'Humanité*) говорил, что «сталинизм» был придуман антикоммунистами для атаки на социализм и Советский Союз» [1].

Г. Бордюгов и В. Козлов отмечали, что «термин «сталинизм», которого раньше сторонились, который вызывал исключительно отрицательные эмоции, который политики и обществоведы считали «не нашим», зазвучал в СССР в середине 1987 г. [2] Однако следует подчеркнуть, что несмотря на отсутствие официального утверждения термина «сталинизм», современники использовали его. Например, в дневнике за 1930 г. М. Пришвин пишет о «ленинизме» и «сталинизме», подчеркивая разницу между ними [3]. Применялся термин и официальными лицами сталинского периода, хотя и в неофициальных документах. Так, Л. Каганович использовал его в переписке с членами политбюро ЦК ВКП (б) в 1935—1936 гг. В письме Г. Орджоникидзе 1936 г. он писал: «То что происходит, например, с хлебозаготовками этого года — это совершенно небывалая ошеломляющая наша победа — победа Сталинизма» [4].

Термин «сталинизм» в англоязычной советологии. В англоязычной литературе первым по отношению к политике Сталина это определение употребил В. Дюранти, московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», который использовал его в серии репортажей 1931 г. [5] Широкое распространение термина в академических кругах относится к периоду 1950—1960-х гг. Однако определенные разногласия, связанные с его значением, сохраняются в англо-американских исследованиях и поныне.

С. Коэн писал, что сталинизм — «ясно выраженный феномен со своей собственной историей, политической динамикой и социальными последствиями» [6]. Но не все исследователи рассматривали сталинизм лишь в рамках исторического периода, ограниченного временем пребывания у власти Сталина (обычно 1929—1953 гг.). Часть специалистов посчитала возможным раздвинуть границы понятия «сталинизм» как за пределы Советского Союза, так и за время сталинского правления. Термин «сталинизм» применялся ими в широком смысле, в качестве синонима «коммунистической диктатуры». Так, Ш. Фицпатрик использовала «сталинизм» как удобный термин для характеристики новой политической, экономической и социальной структуры, возникшей в Советском Союзе после событий, связанных с коллективизацией и первой пятилеткой [7]. А Р. Такер считал, что сталинизм — это «историческая стадия в развитии российской и других коммунистических революций и коммунизма как культуры» [8]. С. Уайт определял сталинизм как форму диктаторской, централизованной и репрессивной власти, характерную для советской политики во время правления Сталина и для других коммунистических стран в определенное время [9].

С нашей точки зрения, в исторической литературе правомерно употребление термина «сталинизм» как в широком, так и в узком смысле слова в зависимости от

контекста предмета исследования. Поскольку мы рассматриваем англо-американскую историографию внутренней политики СССР 1930-х гг., термин будет использоваться в узком смысле слова как совокупность действий Сталина и его окружения в период нахождения у власти и как комплекс событий, произошедших в эти годы.

Сталинизм и сталинская система были в центре внимания западного академического мира в период после Второй мировой войны всякий раз, когда рассматривалась ситуация за «железным занавесом». Даже когда анализировалось современное политическое развитие, исследователи стремились найти его корни в сталинском прошлом. Сфера исследований не ограничивалась историей, американская и англоязычная академическая среда включала в себя достаточно широкий спектр дисциплин. Термин «советология» относился ко всем исследованиям, объектом которых был Советский Союз.

Термин «советология» получил широкое распространение в англоязычной историографии в 1960-е гг. Оксфордский словарь отмечает его первое употребление в лондонском еженедельнике «Наблюдатель» (*Observer*) 3 января 1958 г., хотя он был использован еще раньше, в 1956 г., во франкоязычной литературе. А сама концепция использования термина сформировалась в среде русских интеллектуалов-эмигрантов в США и Западной Европе, вынужденных покинуть Родину после российской революции и гражданской войны [10].

В академических кругах термин поначалу был воспринят достаточно осторожно. На рубеже 1950—1960-х гг., как писал Д. Армстронг, «основатели американского изучения СССР все еще отвергали определение “советология”, отдавая предпочтение более банальному “изучению российского региона”» [11]. А. Улам отмечал в середине 1960-х гг., что “советология” — ужасное слово, но как можно его не использовать?» [12]. К такой позиции был близок и С. Коэн, для которого «советология — незлегантное, но полезное слово» [13]. М. Малиа описывал советологию как «академическую дисциплину, известную сначала под скромным определением “изучение региона”, а затем под более амбициозным и научно звучащим понятием “советология”» [14].

В русскоязычной историографии понятие «советология» используется с 1960-х гг., хотя в трудах различных авторов встречаются неоднозначные варианты его трактовки и перевода. Например, Б. Марушкин употреблял термины «советоведение», «советовед», а Р. Редлих писал о «большевизмоведении» [15]. Е. Петров определял советологию как «совокупность западных наук, изучающих советское общество во всем его многообразии и конкретности» [16]. Автор отмечал, что в XX в. среди наук политического плана возникла, окрепла и обрела самостоятельность в мировом научном сообществе такая отрасль междисциплинарных исследований, как «советология», хотя ее название столь условно, поскольку другим она более знакома как «советоведение» или «кремленология». В литературе можно встретить самые разные и порой взаимоисключающие попытки ее наименования как «марксологии» либо «россиеведения» [17]. Он считал, что «русским вопросом» в США занималось множество нетрадиционных дисциплин от славистики и советологии до марксологии и кремленологии, но наиболее синтетической из них на протяжении столь долгих лет оставалась и остается «россиеведение». «Вопрос о ее релевантности (соответствия решаемых задач общественным потребностям) еще неоднократно будет дискутироваться в академических кругах. Ограничимся констатацией факта — россиеведческая элита Запада по праву доказала, что она существует, и с ее мнением нужно считаться» [18].

В англо-американской историографии термин «советология» имеет различное толкование. Многие авторы ограничивали советологию современностью (текущими

событиями) при всей неопределенности того, что мы считаем современностью. Некоторые включали в нее весь период советской истории или даже расширяли временные рамки, начиная с российской истории XIX в., особенно тех ее аспектов, которые оказали серьезное влияние на дальнейший ход исторического развития. Например, так поступил В. Лакер в книге «Несбывшаяся мечта» [19].

Р. Такер писал, что он решительно не любит слово «советология» и пользуется им в исключительных случаях. Он предпочитал термин «русоведение», хотя имел в виду масштаб всего государства. «Советология», по его мнению, ограничивала изучение истории лишь советским временем, отрывая от нее весь дооктябрьский период. Он настаивал на другой точке зрения: нужно изучать советский период в рамках более глубокого изучения истории страны. «Когда я вернулся из России (это было в 1953 г.) и пришел в свой родной Гарвард, там работал профессор Карпович — эмигрант, преподававший русскую историю, и мне студенты сказали, что когда он дошел до конца курса, до периода революции в России, он объявил, что тут русская история и кончилась. Мне захотелось с ним поговорить о моих впечатлениях — ведь я провел в СССР девять лет. Он принял меня очень любезно и слушал целый час. Когда я заговорил о Сталине, о том, что при нем были возрождены многие прежние порядки, я заметил, что он улыбнулся. Я понял: он говорит мне «до свидания». Для него Россия после революции — уже другая страна, а для меня это не так» [20].

Основное внимание советология концентрировала на политической ситуации в странах за «железным занавесом». В зависимости от взглядов авторов это могли быть Советский Союз, страны «советского блока» в Восточной Европе, а также все «коммунистические» или «советского типа» государства мира. Серьезные разночтения связаны и с классификацией советологии как академической дисциплины. Во многих исследованиях она признавалась субдисциплиной политологии, имеющей дело с изучением советской политики. Работы специалистов в других дисциплинах — истории, экономике, социологии — относились к советологии в той степени, в какой они имеют точки соприкосновения с политологией. Так, А. Мотыль определял советологию как «изучение советской внутренней политики политологами и, в определенных случаях, историками» [21]. С. Коэн отмечал истоки такой позиции: «В период становления советологии история и политология были практически неразделимыми дисциплинами в “советских исследованиях”. Политологи подготовили большинство стандартных работ по советской истории, а большинство политологических трудов было написано с использованием методологии исторической науки» [22].

С точки зрения Д. Нелсона, продвижение от советологии — изучения региона к советологии — социальной дисциплине произошло на рубеже 1960—1970-х гг., когда англо-американские исследователи постепенно отказались от представления о коммунистическом мире как о чем-то монолитном и неизменном и стали использовать эмпирические подходы, применяемые при изучении западного общества [23].

Взгляд на советологию как на определенную академическую дисциплину (или субдисциплину) разделялся далеко не всеми англо-американскими исследователями. В среде специалистов прочно существовало также отношение к советологии как к сумме субдисциплин нескольких (обычно точно не определяемых) дисциплин в социальных или, реже, гуманитарных науках, объединенных общим объектом исследования — Советским Союзом. М. Малиа, описывая историю западной советологии, замечал, что в рамках исследования «будут охвачены четыре основные общественно-научные дисциплины: экономика, политология, социология и их общий предок — история» [24].

Иногда, как отмечалось выше, географические рамки расширялись до определенного «коммунистического региона». Например британский журнал «Советские исследования» (*Soviet Studies*) – современные «Европейско-Азиатские исследования» (*Europe-Asia Studies*) – принял именно такую территориальную трактовку советологии. Журнал фокусировался, и до сих пор фокусируется на «странах "бывшего коммунистического блока" Советского Союза, Восточной Европы и Азии» [25]. Но такой подход не встречал широкой поддержки в силу очевидного нарушения границ применяемого термина. Отношение к советологии как к изучению определенного региона, конечно, при соблюдении разумных границ этого региона, представляется наиболее рациональным. Именно по такому пути пошли создатели центров российских и советских исследований в англо-американском сообществе. При этом нужно отметить, как справедливо подчеркивал А. Анджер, что «советология отличалась от, например, египтологии или подобных дисциплин тем, что не занималась изучением определенной цивилизации как единого целого» [26]. Общий интерес к определенному региону представителей различных научных дисциплин не стирал различий между ними. Социологи, экономисты, историки, изучавшие Советский Союз, работали в рамках своей специальности, а не некой супердисциплины, состоящей из нескольких.

Для многих англо-американских специалистов советология была междисциплинарной сферой с широким спектром обществоведческих и гуманитарных наук. Так, С. Коэн определил в качестве главных интеллектуальных составляющих советологии историю и политологию, но предусматривал и включение других дисциплин. В своей резко критической оценке англо-американской советологии исследователь выражал сожаление, что основанная первоначально на идее многодисциплинарного изучения региона советология под негативным влиянием тоталитарной школы совершила ошибку самоограничения, заменив изучение реальной истории и политики изучением режима. По его мнению, для выполнения задачи реального изучения советского общества советология должна обратить большее внимание на социальную историю и политическую социологию [27]. Похожую точку зрения высказала в середине 1980-х гг. и Ш. Фицпатрик, заявив, что советология наполнилась более глубоким содержанием в 1970-е гг., когда новая когорта социальных историков бросила вызов гегемонии политологов, хотя и была готова все еще ставить «старые советологические вопросы о политической системе» [28].

Попытки определить точный перечень дисциплин, входящих в многодисциплинарную советологию, предпринимались, но специалисты не смогли прийти к единому мнению. Сказалась трудность определения дисциплинарных параметров при изучении любого региона, к которым добавились специфические проблемы терминологии советской истории. Р. Такер предлагал для советологии очень простую формулировку – «изучение СССР» [29], несмотря на то, что в таком варианте исчезал период 1917–1922 гг. как предмет исследования. Тем не менее, именно такое понимание закреплено в «Оксфордском словаре», который определяет советологию как «изучение и анализ явлений и событий, происходящих в СССР». Поэтому вполне можно согласиться с той точкой зрения, которая видит в советологах «прежде всего ученых-обществоведов и гуманитариев, исследующих некоторые составляющие советского или российского социального феномена» [30].

О важности точного определения региона исследований необходимо говорить потому, что иногда термин «советология» даже в многодисциплинарном смысле употребляется как синоним «изучения коммунизма». В таком случае смысл определения вообще утрачивается, так как отсутствует точность и в дисциплинарном, и в географическом отношении. Р. Саква отмечал, что

утверждения о том, что «в дисциплине не было ничего однородного», равнозначны отказу от признания дисциплины вообще [31]. Определение «коммунистический» является политическим, но никак не региональным. Коммунистический мир не характеризовался ни географической близостью, ни историческими связями или культурным сходством.

Ряд авторов относят к советологии изучение не советской политики в целом, а скорее «политики верхов», лидеров партии и государства, советских и партийных высших органов. Это связано с тем, что в английском языке употребление термина «политика» несколько отличается от его применения в русскоязычной литературе. Словом «политика» переводятся на русский язык два английских слова *policy* и *politics*, имеющие самостоятельное значение. *Policy* — это программа, метод действий или сами действия, осуществляемые человеком или группой людей по отношению к какой-либо проблеме или совокупности проблем, стоящих перед обществом. *Politics* — область общественной жизни, где конкурируют или противостоят различные политические направления, борются и взаимодействуют личности или группы, имеющие собственную *policy*.

Например, А. Адамс считал само собой разумеющимся, что советология включает, прежде всего, изучение «борьбы за власть и принятие решений в высших кругах партии» [32]. В дискуссии 1973 г. А. Даллина и Д. Армстронга советология рассматривалась как изучение «власти, ее целей и политики» [33]. При подобной трактовке возникала ситуация, когда советология практически уравнивалась с более узкой дисциплиной — кремленологией, отношение к которой в академической среде было достаточно критическим. В результате часть исследователей вообще не признавала советологию серьезной научной дисциплиной, считая, что советологи занимаются лишь теми сенсационными и неясными вопросами, от которых отказываются в силу разных причин серьезные ученые.

Методология англоязычных исследований советской истории. Еще один важный аспект отношения к советологии в академическом мире связан с ее взаимодействием с политическими науками в целом. Советология отличалась собственной техникой исследований, требовала специальных навыков интерпретации, подобных расшифровке тайнописи, которые обычно не использовались в изучении политики открытых систем.

Дискуссии о возможности применения западных обществоведческих дисциплин по отношению к советскому опыту, споры о советской исключительности сопровождали историю всей западной советологии. Французский автор Р. Арон отмечал, что те, кто живут в СССР, с трудом могут поверить, что за хаотическим фасадом конституционно-плюралистических режимов не скрывается всемогущество маленькой группы людей. Точно так же многие западные демократы были убеждены, что Советскому Союзу присущи конфликты, которые составляют суть конституционно-плюралистических режимов. Иными словами, советские люди считали конституционно-плюралистические режимы «монополистическими олигархиями», поскольку хотели найти на Западе то же, что и дома. А сторонники конституционно-плюралистических режимов полагали, будто за фасадом партийной олигархии непременно есть свободное взаимодействие сил и группировок [34].

Споры об отношениях между методологией обществоведения и советологии были характерной чертой англо-американского академического мира. В 1973 г. краткий обзор методологических различий двух подходов — изучения региона или использования общих принципов социальных наук — был дан в статье Д. Каутского «Сравнительное изучение коммунизма против сравнительной политики» [35]. Сторонники первого подхода считали, что уникальность страны или региона требует

использования прежде всего «культурного» подхода к изучению. Например, С. Соломон в редактированном ею сборнике «Плюрализм в Советском Союзе» видела опасность в неадекватном применении системы ценностей. Она писала, что существует опасность попасть в ловушку использования американских или западноевропейских ценностей как главной линии оценки советской реальности, и призывала не увлекаться сравнением, сконцентрировавшись на уникальности советской политики [36].

Р. Шарлет аргументировал, что коммунистические системы были закрытыми обществами со сложно различаемым процессом принятия политических решений, юридически не определенными структурами, функциями и правилами. Это создавало условия, при которых многие ведущие концепции западной политической науки не могли быть применимы для изучения таких политических систем, так как их значение искажалось при описании соответствующих аспектов коммунистических режимов [37]. На подобную опасность обращал внимание и Дж. Хаф, отмечавший, что в сравнительном анализе психологически трудно отказаться от влияния собственной системы ценностей и нет ничего более легкого, чем применять определения и стандарты, которые сделают результаты подходящими для удовлетворяющих исследователя критериев [38].

Невозможно отрицать и тот факт, что советология, как и другие социальные науки, всегда несла в себе оценочные категории, связанные с ценностными ориентациями культуры и общества, к которому принадлежит исследователь. Любая ценностная характеристика всегда субъективна. Уже выбор темы, не говоря об анализе и выводах, предполагает включение шкалы ценностей исследователя в его работу. А. Тойнби справедливо отмечал, что «в каждую эпоху и в любом обществе изучение и познание истории, как и всякая иная социальная деятельность, подчиняется господствующим тенденциям данного времени» [39].

Вторая группа исследователей настаивала, что главным является не «чувство» страны, а умение перенести ее изучение в рамки выработанных схем, образцов и законов. Так, А. Мейер сожалел, что слишком долго коммунистический мир анализировался вне рамок сравнительного изучения, в условиях применения концепций и моделей, зарезервированных только для него самого. С точки зрения автора, одной из важнейших причин, помешавших англо-американским исследователям анализировать коммунистическое общество через систему координат широко используемых концепций и теорий, был климат холодной войны. Он предлагал для интегрирования изучения советского общества в социальную науку «просто избавиться от духа холодной войны» [40].

Эксперты в области советской внутренней политики крайне редко прибегали к сравнению советской политической системы с нетоталитарными государствами Запада и третьего мира. Даже если такие попытки предпринимались, они чаще концентрировались на результатах политики, а не на институтах, ее проводящих и вырабатывающих. Р. Канет обращал на это внимание еще в середине 1970-х гг., но подобная ситуация сохранялась в течение длительного периода времени [41]. Причины заключались в чрезмерном подчеркивании в советологических исследованиях двух составляющих советской системы: тоталитарного режима и государственной коммунистической идеологии. Существовало ранее отмеченное нами согласие между «левыми» и консервативными исследователями в отношении уникальности СССР. Конечно, многие черты советской системы не позволяли говорить об идентичности коммунистических и западных государств. Но это не означало, что остальные составляющие систем также были несопоставимы. Советский опыт можно было рассматривать не только при изучении такого феномена, как «коммунизм».

Точку зрения, что Советский Союз был уникальным явлением и, следовательно, нормальные методы и техника социального исследования для него не подходят, мы встречаем и в постсоветскую эпоху. Аргумент, который можно противопоставить такой позиции, заключается в том, что в определенном смысле все явления уникальны, однако это не означает, что научное обобщение невозможно. В работе «Конструирование социального исследования» справедливо отмечается, что даже самое всестороннее описание, сделанное лучшими специалистами, с детальным пониманием контекста будет резким упрощением и сужением обозреваемой реальности. Ни одно описание, каким бы полным оно ни было, и ни одно объяснение, независимо от количества привлеченных фактов, не может всесторонне передать многообразие мира. Поэтому систематическое упрощение является решающим шагом на пути к полезному знанию [42].

В господствовавшей долгое время тоталитарной модели, со всеми плюсами и минусами ее классического варианта, сравнение делалось только с нацистской Германией и термин «тоталитарный» подразумевал полную непохожесть на государства Запада. В научном смысле отношения СССР и западных государств рассматривались как отношения противоположностей, различных абсолютно во всех составляющих. Советский Союз рассматривался даже не как крайность в едином сообществе, а скорее как изолированная система. Такой взгляд делал невозможным осознание того, что «советский вариант» является только одним проявлением широкомасштабной проблемы, общего вопроса об отношениях общества и государства. Конечно, любое сравнение является упрощением, и обобщение всегда стирает детали. Но, используя сравнительный анализ, ученые могли обратить внимание на события, выходящие за пределы одной системы и оказывающие влияние на многие страны. В конечном итоге сравнение СССР с западными государствами было действительно политическим актом, позволяющим понять, что в советском и западном опыте есть общие черты, возникающие из насильственной функции государства.

«Российские и восточноевропейские исследования» после распада СССР. Из нашего краткого обзора истории советологии видно, что основное внимание исследователей концентрировалось на политике и коммунистической идеологии Советского Союза, которые рассматривались на определяющие факторы советской системы. Как будет показано ниже, обе парадигмы потеряли свое значение после распада Советского Союза. Таким образом термин «советология» перестал быть соответствующим широкому спектру англоязычной историографии, характерному для периода после 1991 г. Он может употребляться только к узкому направлению в изучении советской истории, базирующемуся на антикоммунистическом идеологизированном подходе периода «холодной войны». Оценивая ситуацию в «советологии» с позиций сегодняшнего дня, мы можем видеть, что она («советология») была связана не только с анализом внутренней ситуации в СССР, но и с более широким аналитическим спектром вопросов, включавших взаимоотношения супердержав в годы «холодной войны» [43].

Распад советской системы снял необходимость политизации и идеологизации историографии советской истории [44]. Поскольку объект исследования – Советский Союз – перестал существовать, дисциплине потребовалась новая концепция самоидентификации. Вместе с отказом от старых парадигм изучения советской истории, название дисциплины перестало соответствовать реальности и превратилось в анахронизм. Появилась возможность использования новой методологии, т.к. для специалистов стали доступны, ранее засекреченные, партийные и государственные архивные документы советского времени. Были

опубликованы многочисленные сборники документов, газетные и журнальные публикации также создавали более благоприятные условия для историков и политологов.

«Архивная революция», начавшаяся после 1991 г., стала переломным историографическим моментом [45]. Теперь западные историки, проводя исследования, могли свободно передвигаться по территории бывшего Советского Союза, сочетать возможности предоставляемые данными «устной истории», изучением советской и постсоветской политической культуры с архивными материалами. Изменения совпали по времени со сменой парадигм в гуманитарной науке. Основное внимание переместилось с проблем политической и социальной истории в сферу культурной истории, для которой наиболее важным является анализ дискурса, пространства, визуальных источников. Так называемый «лингвистический поворот» конца 1960-х гг. был только одним из многих «культурных поворотов» в развитии гуманитарных наук, за которыми последовали «пространственный», «изобразительный», «визуальный», «перформативный» повороты [46].

Эти изменения привели к росту сомнений среди историков в отношении письменного источника как ключевого в понимании исторического события, как инструмента который «покажет то, что действительно произошло», как это было сформулировано основоположником теории историзма Л. фон Ранке [47] Письменный источник скорее показывает позицию его автора, чем реальный ход событий, и многие исследователи стали анализировать дискурс в том понимании, которое было предложено французским философом М. Фуко, и использовать такие источники как дневники, письма, мемуары для реконструкции мышления, менталитета определенного исторического периода. Методологические изменения не могли не коснуться и историографии истории сталинизма. Здесь историки также сфокусировали внимание на культурной истории, языке и анализе дискурса [48].

Отмеченные изменения, имевшие место в конце 1980-х – начале 1990-х гг. меняли отношение к терминам «советология» и «советские исследования». На практике оба термина использовались как синонимы, хотя некоторые авторы и вкладывали определенные нюансы в толкование понятий. Например, Д. Орловски предлагал проводить разграничения между «советологией» и «советскими исследованиями» через ограничение первого изучением СССР и СНГ, направленным на анализ современного механизма власти и поддерживающих его социальных и политических институтов. Второе значение, по его мнению, включало исторические и культурные исследования и значительно меньше фокусировалось на настоящем [49]. Но выделение различий не получило широкой поддержки и остается не признанным большинством исследователей.

Рассматривая труды авторов, исследовавших советскую историческую проблематику, мы используем термины «советология» и «советские исследования» как синонимы. Оба термина практически перестали использоваться после распада СССР, и мы употребляем их только по отношению к англоязычной историографии периода существования Советского Союза. Нам представляется, что единого термина, который бы адекватно характеризовал все дисциплины, пришедшие на смену советологии, не существует. В большинстве случаев в качестве главного критерия используется пространственный фактор, и вместо «советологии» употребляются такие характеристики дисциплин как «российские и восточноевропейские исследования» или «восточноевропейская история».

Авторы стремились показать в книге не только развитие исторической науки от «советологии» до «восточноевропейской истории», но и проследить общие тенденции изменений западной историографии после Второй мировой войны.

Во второй половине XX в. мировая историческая наука прошла сложный и противоречивый путь. В целом это было поступательное развитие, которое привело к обновлению теоретических основ, методологии и методики историографии.

Как объект изучения англоязычная историография сталинизма имеет все компоненты историографического комплекса. Мы рассматриваем генезис этого комплекса как процесс, в развитии которого определенно выделяются три периода: 1) середина 1940-х — середина 1960-х гг. — время становления англоязычной советологии в качестве академической дисциплины, создание инфраструктуры «российских и советских исследований», господство «тоталитарной концепции» как методологической парадигмы советологии; 2) середина 1960-х — середина 1980-х гг. — закрепление положения советологии в англоязычном академическом сообществе, укрепление организационной и финансовой базы, усиление позиций историков в советологической среде, ревизия тоталитарной парадигмы и широкое использование методологии западных социальных и гуманитарных наук в «российских и советских исследованиях»; 3) середина 1980-х — настоящее время — продуктивное использование историками достижений мировой историографии, определение своего нового положения в англоязычной системе гуманитарных и социальных исследований в связи с кардинальными изменениями в изучаемом регионе, перестройка организационной инфраструктуры.

Англоязычные исследования советской истории за послевоенные годы доказали свое право на достойное место в мировой историографии, оказались востребованы не только в государствах Запада, но и в странах бывшего Советского Союза. В последние годы исследования западных историков оказались в центре внимания российских исследователей, но уже не как объект идеологической критики, а как предмет объективного изучения. Появились возможности научных контактов между учеными Запада и Востока, многие труды советологов были переведены на русский язык, новое поколение российских исследователей знало английский язык значительно лучше, чем их предшественники. Англоязычное сообщество перестало быть экзотикой для многих россиян. Все это вызывало естественный интерес, и зарубежная историография, казавшаяся прежде чем-то единым, предстала как сложная система, состоящая из множества течений и направлений.

Среди публикаций конца XX — начала XXI в. следует отметить антологию «Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период», курс лекций А. Некрасова «Становление и этапы развития западной советологии», работы Е. Петрова «Американское руссиеведение. Словарь-справочник», «История американского руссиеведения», «Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США: Первая половина XX столетия: Источники и историография», «Русская тема» на Западе. Словарь-справочник по американскому руссиеведению» [50]. С нашей точки зрения, уникальное место занимает издательская серия РОССПЭН «История сталинизма». На сегодняшний день русскоязычные читатели смогли познакомиться с работами Н Барона, Ф. Буббайера, Л. Виолы, В. Голдман, П. Грегори, Р. Даниелса, Дж. Истера, Дж. Кипа, С. Майнера, Т. Мартина, П. Соломона, Ш. Фицпатрик, Е. Юинга. Во многих случаях издательство предложило оригинальные переводы, сделав работы англоязычных авторов доступными для широкого круга исследователей.

Выводы. В англоязычной историографии было много гипотез и моделей, объяснявших генезис сталинизма, периодизацию сталинского этапа советской истории, взаимодействие общества и государства в 1930-е гг., взаимовлияние политики, экономики и идеологии. В течение длительного периода времени они не

были и не могли быть соответствующим образом документированы. Однако и после открытия советских архивов, несмотря на введение в научный оборот новых материалов, остаются нерешенные вопросы, связанные со Сталиным и сталинизмом. Поле деятельности исследователей остается огромным.

Проблема сегодня заключается не в том, что историкам не хватает эмпирического материала, хотя, конечно, академическое сообщество приветствовало, приветствует и будет приветствовать расширение источниковой базы. Вопрос в большей степени связан с аналитическими возможностями самой исторической науки.

История во взаимодействии с другими социальными и гуманитарными науками способна дать варианты объяснения сталинизма и дает их. Тема остается востребованной как в англоязычной, так и в постсоветской академической среде. Происходит процесс углубления анализа, расширения предмета исследования. Однако, как всякий процесс познания, он не только увеличивает число решенных проблем, но и постоянно расширяет область неизвестного.

В последние годы изменилась не только проблематика историографии, но и методологический инструментарий историков и их роль в процессе написания исторических работ. Англоязычные авторы, в отличие от своих российских коллег, сегодня не заявляют об «объективности» своего взгляда на исторические проблемы. В авторефератах кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных в России и странах СНГ, тезис об «объективности» и следовании концепции «историзма» практически обязателен. Западные авторы стремятся подчеркнуть, что они, безусловно, готовят свои работы на репрезентативных источниках, но сам выбор источников, формулировка рассматриваемых проблем, выводы, к которым они приходят, не могут быть абсолютно объективными в силу зависимости от столь субъективных обстоятельств как научная подготовка, культурная и социальная база самого исследователя.

Примечания:

1. Цит. по: Laqueur W. *The Dream that Failed: Reflections on the Soviet Union*. New York, 1994. P. 111.
2. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. *История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества*. М., 1992.
3. Пришвин М. 1930 год // Октябрь. 1989. № 7. С. 179.
4. Сталинское Политбюро в 30-е годы. М., 1995. С. 151.
5. Laqueur W. *Stalin: The Glasnost Revelations*. New York, 1990. P. 361.
6. Cohen S. *Bolshevism and Stalinism // Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. New York, 1977. P. 4.
7. Fitzpatrick S. *New Perspectives on Stalinism // The Russian Review*. 1986. Vol. 45. No. 4. P. 357.
8. *Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. New York, 1977. P. 77.
9. White S. *Stalinism // Political and Economic Encyclopedia of the Soviet Union and Eastern Europe*. London, 1990. P. 245.
10. Barnett V., Zweynert J. (ed.). *Economics in Russia. Studies in Intellectual History*. Aldershot, 2008, P. 123-4.
11. Armstrong J. *New Essays in Sovietological Introspection // Post-Soviet Affairs*. 1993. № 9. P. 171–175.
12. Ulam A. *The State of Soviet Studies: Some Critical Reflections // Survey*. 1964. № 50. P. 53–61.
13. Cohen S. *Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917*. New York: Oxford University Press, 1985. P. 3.

14. Malia M. *A Fatal Logic // National Interes*. 1993. № 31. P. 80—90.
15. Марушкин Б. История и политика. Американская буржуазная историография советского общества. М., 1969. С. 5, 73; Редлих Р. Очерки большевизмоведения. Франкфурт-на-Майне, 1956.
16. Петров Е.В. Американское россиеведение. Словарь-справочник. <http://petrov5.tripod.com/wellcome.htm>
17. Петров Е.В. «Русская тема» на Западе. Словарь-справочник по американскому россиеведению. СПб., 1997. http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=682.
18. Петров Е.В. История американского россиеведения: курс лекций. СПб., 1998. http://chss.irex.ru/db/zarub/view_bib.asp?id=36.
19. Laqueur W. *The Dream that Failed: Reflections on the Soviet Union*. New York, 1994.
20. Цит. по: Петров Е.В. Американское россиеведение. Словарь-справочник. <http://petrov5.tripod.com/wellcome.htm>.
21. Motyl A. *Sovietology, Rationality, Nationality: Coming to Grips with the Nationalism in the USSR*. New York, 1990. P. 197.
22. Cohen S. *Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917*. New York, 1985. P. 5.
23. Nelson D. *Comparative Communism: A Postmortem // Handbook of Political Science Research*. Westport, 1992. P. 305.
24. Малиа М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. 1997. № 5. С. 93.
25. См. официальный сайт журнала <http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713414944~tab=summary>.
26. Unger A. On the Meaning of «Sovietology» // *Communist and Post-Communist Studies*. 1998. Vol. 31. № 1. P. 22.
27. Cohen S. *Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917*. New York, 1985. P. 7, 24.
28. Fitzpatrick S. *New Perspectives on Stalinism // The Russian Review*. 1986. Vol. 45. No. 4. P. 357—373.
29. Tucker R. Foreword // *Post-Communist Studies and Political Science: Methodology and Empirical Theory in Sovietology*. Boulder, Colo., 1993. P. IX.
30. Cushman T. Empiricism versus Rationalism in Soviet Studies: A Rejoinder // *Journal of Communist Studies*. 1990. № 6. P. 86—98.
31. Sakwa R. *Russian Studies: The Fractured Mirror // Politics*. 1996. № 16. P. 175—186.
32. Adams A. *The Hybrid Art of Sovietology // Survey*. 1964. № 50. P. 154—162.
33. Dallin A. Bias and Blunder in American Studies on the USSR // *Slavic Review*. 1973. Vol. 32. Is. 3. P. 560—576; Armstrong J. Comments on Professor Dallin`s «Bias and Blunders in American Studies on the USSR» // *Ibid*. P. 577—587.
34. Арон П. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 214.
35. Kautsky J. *Comparative Communism Versus Comparative Politics // Studies in Comparative Communism*. 1973. Vol. 6. Is. 2. P. 257—269.
36. *Pluralism in the Soviet Union*. London, 1983. P. 27—28.
37. *Communist Studies and the Social Sciences: Essays on Methodology and Empirical Theory*. Chicago, 1969. P. 211.
38. Hough J. *The Soviet Union and Social Science Theory*. Cambridge, 1977. P. 223.
39. Тойнби А. Дж. Постигжение истории. М., 1991. С. 14.
40. *Communist Studies and the Social Sciences: Essays on Methodology and Empirical Theory*. Chicago, 1969. P. 198.

41. Kanet R. Is Comparison Useful or Possible? // *Studies in Comparative Communism*. 1975. Vol. 8. Is. 1/2. P. 257–269.
42. King G., Keohane R., Verba S. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton, 1994. P. 219.
43. Jones D., Smith M. Is There a Sovietology of South-East Asian Studies? // *International Affairs*. 2001. Vol. 77. Is. 4. P. 843–865, здесь С. 844.
44. Sawka R. Postcommunist Studies: Once Again Through the Looking Glass (darkly)? // *Review of International Studies*. 1999. Vol. 25. P. 709–719.
45. См. напр. Kotkin S. 1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytic Frameworks // *Journal of Modern History*. 1998. Vol. 70. P. 384–425.
46. См. более детальный анализ Smith P. *Cultural Theory: An Introduction*. Oxford, 2001; Bachmann-Medick D. *Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften*. Reinbeck bei Hamburg, 2007.
47. von Ranke L. *Sämtliche Werke*. Vol. 33/34, Leipzig, 1885, P. 7.
48. См. главу «Постмодернистский анализ советской субъективности» этой книги.
49. *Beyond Soviet Studies*. Washington, 1995.
50. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001; Некрасов А.А. Становление и этапы развития западной советологии: Текст лекций. Ярославль, 2000; Новейшие подходы к изучению истории в современной зарубежной историографии: Материалы международных семинаров историков в Ярославле. Ярославль, 1997; Петров Е.В. Американское русиеведение. Словарь-справочник. <http://petrov5.tripod.com/twellcome.htm>; Петров Е. В. История американского русиеведения: курс лекций. СПб., 1998; Петров Е. В. Научно-педагогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США: Первая пол. XX столетия: Источники и историография. СПб., 2000; Петров Е.В. «Русская тема» на Западе. Словарь-справочник по американскому русиеведению. СПб., 1997.

УДК 94

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 1930-х гг. В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

¹ Вячеслав Иванович Меньковский

² Уль Катарина Барбара

³ Александр Арвелодович Черкасов

¹ Белорусский государственный университет, Белоруссия

Доктор исторических наук, профессор

E-mail: menkovski@bsu.by

² Университет г. Лейпциг, Германия

доктор философии

³ Сочинский государственный университет, Россия

Доктор исторических наук, профессор

E-mail: sochio03@rambler.ru

В статье на основе англоязычной историографии рассматривается Советский Союз в один из сложных периодов своего существования – в 1930-е гг.

Ключевые слова: Советский Союз, англоязычная историография, 1930-е гг.